

**Н**

ынче пора осенняя, месяц октябрь, начало его — бабье лето. Дни стоят солнечные, теплые. Но по утрам — иней. В ведрах с водой — тонкий ледок.

Первый да второй утренники свое дело сделали: тыквенные плети, листья их почернели, сникли; кое-какие цветы заморозком прихватило. Но, слава богу, не все. Как и прежде, цветут петунии. Возле крыльца — две большие клумбы бархоток, словно высокие костры пылающие. Там — яркая солнечная желтизна и кремовая гущина. Легкие блюдечки лепестков и пышные махровые соцветья. И дух шафрановый, который собирает пчел, мух-жужжалок, малых разноцветных бабочек на печальный праздник прощания с летом.

Не сегодня-завтра придет морозная ночь, когда цветы льдисто застынут, красоты не теряя. Но утром под солнцем обмякнут и почернеют. Лето кончилось.

Это было мое первое лето в новом доме, на новом дворе. Три года даже в теплую пору обходился я городским квартирным житьем. Но не выдержал.

И теперь вот он — новый двор: невеликий клочок земли, на который я пришел лишь в июне, когда у добрых хозяев все зеленело, цвело и даже спело. Но кое-что успел. Цветочной рассадой оделили хорошие люди: петунии, бархотки, зорька да

дини. А чтобы оставшаяся пуста земля глаз не мозолила, насажал я тыкв с надеждой, что зеленые плети все закроют. Так и случилось: тыквенные плети расплозились, словно змеи, во все стороны, даже на городьбу забрались. С зеленью получилось: ступить некуда. А вот зацветать тыквы долго не желали. И это было понятно: два месяца стояла жара несносная, до сорока градусов. Какие уж тут цвет да завязь в таком пекле. Это ведь в тени сорок градусов. А тыквы и прочая зелень — на солнце, где термометр до упора показывает пятьдесят, а дальше — некуда. Но жара жарой, а с городским, квартирным житьем все равно не сравнить. Свой двор, свой дом. Здесь особенно хорошо по утрам и долгими вечерами. Тишина, зелень, цветы, доброе соседство, пока не людское.

Пара горлиц рядом гнездится. По утрам они прилетают на водопой ко мне во двор, где бочка и пяток ведер с вечера полные стоят. Горлицы пьют. А потом сидят на проводах, совсем рядом, нежно воркуют, не нарушая, но лишь покоя утреннюю ли, вечернюю тишь.

Объявилась пара нарядных сорок — птиц ныне редких, особенно летом, когда они гнездятся в местах безлюдных. А эти устроились в нашем углу: тут тихо, покойно и густые кроны деревьев. Вот и хозяйничают. Болтливый народ. Трещат там и здесь, к воде прилетают. Красивые птицы: чистая белль манишек, иссиня-черные фраки, в солнце сияющие.

Еще одна пара — дятлы. Колотят с утра до ночи, даже телеграфные столбы не шадят.

И какая-то славная кукушка объявилась. Ее не видно, но слышно: «Ку-ку, ку-ку, ку-ку...» И всякий день она так долго чьи-то годы считает, сколько и не прожить. Устанешь. Наверное, это она всему миру веки-вечные обещает. Добрая нам попалась кукушка.

«Сколько много всего!..» — когда-то возглашал посреди огорода маленький внук Митя.

Теперь он вырос, паренек взрослый. Невеликий, но помощник. Грядки да лунки помогает копать. Поливать иногда приходит, когда попросишь. Но все — набегом, быстрее-быстрее, потому что в пятнадцать лет очень много дел. Спешит, иногда упрекая меня:

— Много нельзя поливать. А ты все: лей да лей. Тыквы могут пропасть. И цветы надо через день поливать. Бабушка говорит, что твои тыквы сгниют.

Этот он наслушался родителей и мудрую бабушку, которые всю жизнь живут лишь квартирой, балконом и возле подъезда скамейкой — она уж все знает: кто, с кем, когда. И о поливе, о тыквах — тоже.

А у меня, слава богу, за долгую жизнь — третье подворье обживается. На прежних росло все и зрело. Хотя у нас не чернозем, где ткни ветку — и она вырастет. У нас — гольный песок. В него лить и лить. Помню детство: старый дом, глубокий колодец, журавец, ведро на цепи, чтобы воду доставать. Рядом — бочки, баки. Вверх и вниз, вверх и вниз, ведро за ведром. Пока не выберешь весь колодец до дна. И так три раза: утром, днем и вечером.

— Чего ныне делал? — вечером спросит дружок-одногодок.

— Как и ты, на журавце висел, — обычный ответ.

Помидоры, огурцы, капуста, лук, картошка — словом, еда: без нее не прожить. Это мы знали с малых лет.

Теперь дело иное: все купить можно на базаре, в магазинах. Но по старой памяти хочется своего, хотя бы огурчиков, лучка да редиски. Из своих рук. И конечно, садовых радостей: яблоки, вишни, абрикосы.

— Где мой малиновый рай?! — врываясь во двор, кричал маленький Митя.

И разве только малиновый?

— Сколько много всего! — тоже Митино удивление.

При старом доме одних только абрикосов посадил и вырастил я двенадцать корней. Разных сортов созревания: от июньских ранних до сентябрьских. Люблю абрикосы. Когда они поспевают, тонет двор в их сладком духе.

Теперь в новом доме — лишь начало: грядки лука, укропа да огурцы. И много тыкв.

Все лето — жара, сушь, горячий ветер. Одной вечерней поливкой тут не обойдешься. Утром тоже надо полить, особенно огурцы. А порой и днем, когда в знойный полдень увидишь сухую землю и поникший от жары цвет и лист. Как им не помочь... Тем более, что нынче водой не бедствуем. Глубокие колодцы да журавцы с ведрами на цепи — в далеком прошлом. Теперь лишь выключателем щелкни — и потекла вода. А ведра носить — дело привычное. Это уже не труды, а просто заботы, на которые отвечают красотой и духом пышные кусты бархоток, белые, фиолетовые разливы петуний, алые зорьки; огурцы — сладкой хрустящей плотью.

А порою случается чудо, которое не объяснить. Так было нынешним летом. Однажды утром при раннем обходе я своим глазам не поверил. В углу двора анемон зацвел. Не сажал я его и не видел — и земля там некопаная. А он поднялся, зацвел. Прокаленная солнцем жесткая почва. Два месяца ни капли дождя. Сорок с лишним в тени, под шестьдесят — на земле. И лишь короткий вечерний полив из шланга освежает землю. Но вот оно — чудо: не какой-нибудь репейник ли, чертополох, а сама нежность. Округлые, светло-лимонные лепестки, черное недро, пестики сияющие, в золотой пыльце. Один цветок раскрывается, другой, третий...

Разве не чудо? Щедрый подарок в начале долгого летнего дня.

А на исходе его польешь цветы, малый огородик и затравевший двор. Час вечерний. Теплая земля парит, словно дышит. Закатная сторона пламенеет и плавится, провожая ушедшее солнце. Подступают сумерки. Жалко, что ежеиков пока нет во дворе. Они бы сейчас затопали. Славный народ...

Сверху, из полутьмы — горлицы покойное воркование. Чудится, что это не птичья песнь, а день летний долгий прощается, уходя, и обещает новую встречу в час утренний, когда раскроются на ранней заре нежные анемоны — моя неожиданная радость.

## НЕВЗНАЧАЙ

Сетовал я уже, что ежики в наш новый двор пока не пришли. Без них вечерами скучновато. Бывало, в старом доме, дворе чуть стемнеет — они затопали по дорожкам: ищут да рыщут поживы, шуршат, порой шумно ссорятся, угощение принимают, людей не боясь. Соседи...

Ежей пока нет. А вот муравьев — больше чем надо. В прежних моих дворах, огородах — два ли, три муравейника. Хватало, чтобы поглядеть порой, любопытствуя.

А нынче, когда поселился, просто в ужас пришел: не двор, а сплошной муравейник. Большие, малые и совсем крошечные гнездовья. Но чуть ли не на каждом шагу.

Внука Митю пришлось на подмогу звать, потому что одному мне не справиться. Сначала отстояли молодые яблоньки, на которых муравьи успели развести целые колонии тлей — «коровок» своих. Раскапывали, заливали водой муравьиные гнезда, липкие пояса на стволах вешали. С трудом, но молодые саженцы отстояли.

Потом за двор принялись шаг за шагом. Тут и народные средства в ход пошли: чеснок, бура и всякая химия.

Конечно же, всех муравьев убрать — дело безнадежное. Но все же потеснили от дома к заборам. Борьба эта и теперь порой продолжается. Но уже спокойная, когда появляется новое гнездо в местах запретных. А в остальном: пусть живут. Без них тоже плохо и порой скучновато.

Поэтому несколько муравейников, даже возле дома, остались. Они — на виду. Подойдешь, поглядишь: жизнь кипит.

Особенно это стало видно, когда дворовые травы житняк да мятлик начали поспевать.

Однажды утром вышел во двор, удивился. Муравейное гнездо невеликое: всего две норки. А от них — живая тропа, черный ручеек течет. Вперед и вперед. Сколько их тут, этих работников... Шаг за шагом иду, а муравьиный ручей не кончается. Потом я измерил: пятнадцать метров их путь: от гнезда к поспевшим колоскам, а значит, и обратно столько же с тяжелой ношей. А потом снова — вперед. Из норки к добыче быстро бегут, назад возвращаются медленней, с грузом, который порою больше самого муравья. Но идут без остановки.

Математикой я занялся. Сам муравей — примерно два ли, три миллиметра величиной. Расстояние от гнезда до заветной житницы с колосками — пятнадцать метров, то есть пятнадцать тысяч миллиметров, в семь тысяч пятьсот раз более самого муравья. Сравниваю с человеком. Для нас это было бы расстояние в двенадцать с половиной километров. Только туда — к добыче. А потом с немалым грузом — обратно. И снова — путь тот же. Опять и опять. С восхода солнца и до заката. Разве человеку это под силу? Как не уважать таких работников.

Внука Митю позвал я и рассказал о своих подсчетах. Он удивился, прошел рядом с муравьиной тропой от гнезда к житнице и обратно. Впечатлило его.

У этого малого муравейника я раскладной стульчик поставил. Чтобы порой посидеть спокойно, поближе разглядывая муравьиную жизнь.

Митя тоже стал иногда говорить:

— Пойду посижу у наших муравьев.

А порою вдвоем мы устраивались рядом, глядели.

И это ведь вовсе не забава: муравьиную жизнь наблюдать. Это — иное.

Вот он — двойной вход в гнездо потаенное, которое под землей. В одной семье — два вида муравьев. Одни большие, головастые, с мощными челюстями ли, жвалами. Другие в два раза меньше. Но работают те и другие. Из норки выносят крупинки земли — это, видно, копальщики, подземного жилья строители. Другие что-то съедобное в норку тянут. Но все в работе. Иногда, отыскав какую-то особую плантацию, все вместе живым потоком спешат к ней и возвращаются с ношей. Пока не соберут. Потом опять спокойная жизнь. Но все равно — работа: песчинки, какой-то мусор выносят, создавая защитный вал у гнезда. Добывают съедобное, пополняя запасы.

Муравьи размером бывают разные. Хотя и селятся недалеко. Вот он — совсем малый муравейничек: защитный вал всего лишь в копейку,

вход — черная точка. А мураши в одном гнезде тоже разные: одни — крошечные, а другие — вовсе с трудом различимые, вроде мошки; но все при них: головка, ножки, тулово. И тоже трудяги: что-то тянут, несут из норки, в нору. Жилье устраивают, копают; и на зиму еду запасают. Работают. Ветер дунул — летит мелкота, за травинки цепляются. Трудно им.

Жалость просыпается: чем бы помочь? Муравьям покрупнее мы с внуком иногда помогаем: житняк шелушим, другие злаки. И насыпаем семена возле входа.

А этим крохам что можно уделить? Для них и маковое зернышко — в тягость. Чем они живы?..

Малый муравейничек, тихая жизнь его; две ли, три крохи ползут, но они — в деле: что-то ищут, что-то вовсе невидимое несут. А рядом их собратья скачут: большие, рыжие, с виду — разбойники. Они туда да сюда мчатся, явно залетные, таких у нас во дворе нет. Чего они тут объявились? Конечно, поживы ищут.

Вначале мы опасались: обидят мальву. Острыми жвалами щелкнет — и нет малыша. Но, слава богу, не трогают. Казалось бы, легкая добыча. Но лишь наткнувшись — остановятся, обнюхают и мчатся дальше.

Поучиться бы нам, людям, как малых да слабых не обижать.

Такие вот мысли порою приходят, когда, над муравейником склонившись, сидишь, наблюдая. У меня это уже давнее: возле старого дома мы жили, мирно соседствуя. Так же, бывало, сидел возле них, смотрел, думал, что-то даже писал.

А вот для Мити — человека теперь уже взрослого, пятнадцать лет ему — для него все это почти впервой: над муравейником склониться, посидеть рядом.

Паренек он неплохой, хотя порою колючий. Многовато ненужного нахватался: в семье, в школе, на вольной воле.

Порою с печалью думаешь: «Куда он ушел, тот маленький Митя — человек искренний, добрый ко всему и благодарный за все».

— Писибо... — не уставал он говорить. — Босее писибо.

— Длествуй! — протягивал он розовую ладошку знакомым и незнакомым и улыбался, радуясь встрече. — Длествуй!

Теперь все куда-то ушло: зачастую — несдержанный паренек, с упрямством и даже злостью: «Ну и что... Ну и пусть... Ну и...»

Недаром порою я повторяю со вздохом: «Кончился Митя. Остался лишь Дима, Димон...»

Но вот недавно случилось для меня неожиданное. Окончили мы с Митей недолгий полив наших грядок да цветочных клумб, к муравейнику подошли, поглядели. А когда уходили, увидел я недалеко, у стены дома, в песке несколько малых воронок — логова так называемых муравьиных львов.

— Ты знаешь, что это?

— Знаю.

— А как они добычу ловят?

— Не видел.

— Смотри.

Я взял осторожно муравья и бросил его в одну из песчаных воронок. Началось обычное: муравей стал выбираться из воронки по крутому склону, но хищник, почуввав добычу, черной точкой объявился на дне воронки и начал атаку.

— Ты видишь его? — спросил я.

- Вижу.
- Он стреляет.
- Как?
- Нагнись.

Картинка «обстрела» была обычной. Муравей пытался выбраться из воронки, а лев «обстреливал» его песчаными брызгами, сбивая с крутого склона вниз, к жерлу. Каждый точный залп опускал муравья все ниже и ниже. И вот уже челюсти льва добычу ухватили и потащили вниз под землю. Муравей сопротивлялся, но все глубже уходил в песок. Черная точка. И нет ее: песчаный плен сомкнулся.

— Вот и все — сказал я.

Для меня это был просто показ: так происходит в природе. Но для Мити, как оказалось, это было иное. Он неожиданно протянул руку и, выхватив из песчаной воронки горсть песка, освободил муравья.

— Спас... — спросил ли, сказал я.

Митя ничего не ответил, наверное, и понять не успев. Спасенный муравей бегал по его ладони.

— Домой отправь, — сказал я.

Митя шагнул к муравейнику и опустил бедолагу на землю.

Постояли мы, поглядели. Потом Митя отправился по своим делам, кажется, на стадион, где его главная радость — футбол. «Бегаете да материтесь, — порою ворчу я. — Спорт называется. Гимнастикой бы занялся...» Но где эта «гимнастика» и все прочее в нашем поселке?.. Так что пусть мяч гоняет.

Он пошел, рослый уже, стройный. Вытянулся за последний год. Прежде переживал из-за своего малого роста. Я его успокаивал, показывая свои школьные фотографии: в седьмом классе — в конце строя. А девятый — уже выше других. И у Мити получилось так же.

Уже вдали, на повороте, Митя оглянулся, махнул мне рукой, прощается. И ушел.

Как далеко он ушел от того милого мальчонки, который так близок был мне. Старый и малый... Тому и другому немного надо от жизни. Лишь доброта и любовь. Но как ни вздыхай, ни жалея, а детство кончается. И лишь потом-потом через годы оно порой возвращается. Но не ко всем.

Как он выхватил муравья... Мгновенно и вроде бы невзначай. Значит, осталось в душе, в глубине ее что-то детское. Чтобы в нужный час пожалеть и спасти без раздумий муравья ли, человека — словом, живую душу.

## СТЕПА

Ранним утром летнего дня вышел я из своего двора на волю, чтобы оглядеться: все ли на месте в нашем переулке. Дорога, заборы, дома, а главное — тютинное дерево с черными сладкими ягодами, до которых все мы очочи.

К дереву подошел, клюю помаленьку. Подкатывает ко мне на велосипеде Степан Кирпичник. Каменщик он по профессии. Оттого и прозвище — Кирпичник. На работу он катит, на багажнике велосипеда — вся его справа: мастерок и прочее.

Поздоровались. Степа спрашивает:

— Приехал? А в бане тебя не видно. Тютину клюешь?

— Клюю. А ты — на калым? Деньгу сшибать?

— А куда же...

— Куда... — съехидничал я. — Мимо проезжал. Дом твой без крыши стоит. А ты по людям шалаешься.

Своим ехидством я на большую мозоль наступил.

— Это у меня самого крыша, видно, поехала, — признался Степа. — Всю жизнь собирался, а затеялся... В самую точку попал. Цены каждый день растут. Да еще как... Глаза на лоб лезут. Железо — в три раза. Дерево — тоже самое. Фанера... С ума сойти! Приценился. Через день приезжаю с деньгами, а она — вдвое дороже. А мне кто будет в два раза больше платить? — задал он горький вопрос. — Вот и стоит хата белым небом крытая. А Катерина меня материт. Понял?

Все я понял и вздохнул. И чтобы как-то успокоить человека, перевел разговор на коз, которых он очень уважал. Одна ли, две дойные всегда у него были. Он сам их доил. И козьим молоком «от желудка спасался».

— Как там козы твои? Размножаются?

— Все одно к одному, — махнул рукой Степа. — Не хочет коза котиться. Я ее, дуру, через весь поселок к хорошему козлу пер. Люди смеялись. Она, дура, орет, упирается. А я ее тяну. А теперь она придурилась. Котиться бы надо, а у нее и признаку нет. Вот тебе и Манька — умница да ведерница. Так что, куда не кинь — везде клин. И этим клином мне Катерина башку продолбила...

Степа укатил. Скрипел и погромыхивал его старенький велосипед. Вослед ему я повздыхал, сочувствуя: разве не беда?

У человека мечта всей жизни: обложить старый дом красным кирпичом и покрыть крышу железом, тоже красным. Чтобы видели...

Степан каменщиком всю жизнь работает. А дом у него не больно приглядный. Получается — сапожник, а без сапог. Вот и хотелось ему. А теперь...

Повздыхал я, Степана проводив. Но из головы он не вышел. Знаю его давным-давно. При нужде за помощью обращаюсь. А по выходным иногда встречаемся в бане.

Для меня такой день — удача. Потому что Степа к парной относится очень серьезно. У него всегда два веника. Один — дубовый, жесткий. Он — для начала, чтобы как следует разогреться. Другой веник — березовый, мягкий. Чтобы тешить распаренное тело.

Большой термос с чаем, на душице, чабреце да зверобое настоящий. И к чаю баловство — конфеты. Всегда шоколадные.

В парной Степан — царь и бог. К нему там не подходи. Он хлещется на самом верху, где пыл и жар не для всякого, побрякивая да постанывая.

На лицо Степан — в своей стариковской поре: морщины, железные зубы. А тело у него молодое. В нем ничего лишнего, вислого — нигде складочки нет. Одни лишь тугие мышцы. Не выпуклые рельефные мускулы спортсмена ли, культуриста, а прогонистые, словно литые. Всю жизнь он кирпичи нянчит. А в последние времена — бетонные блоки пудовые. Подними их да покидай с руки на руку день-деньской!

Парится Степан всерьез. Три ли, четыре захода. Но после каждого — отдых. И вот тогда — чай с конфетами и спокойные беседы.

Обычно в бане у нас о чем разговоры: огороды, сады, уродилось не уродилось; рыбалка — про судаков да сазанов, самые большие из которых, пудовые, сходят с крючка возле самой лодки: «Вот он — я сачок опускаю, а он как даст хвостом. И сошел». Такие вот они — пудовые сазаны.

В последнее время в политику банный народ полез, телевизора нагля-

девочки: Украина, Турция и, конечно, олигархи. Такой иногда крик поднимут... Табор цыганский.

У нас со Степаном разговоры спокойные. Он человек читающий. И не просто книжки: любовь ли, детективы. Салтыкова-Щедрина он высоко ценит. Как-то всю зиму мы только о Щедрине и беседовали. А вот Достоевский его не увлек. «Так, муть какая-то», — коротко определил он. Я не возражал. О Салтыкове он говорит с каким-то мягким, спокойным, но восхищением, что-то мне пересказывает, похожее на нынешнее.

Чабрецовый настой попиваем, конфетками балуемся — шоколадными. И спокойной доброй беседой: о читанном-перечитанном, а порой о козах. О молочных козах. Зааненской породы.

Они — большие, стройные. Комолые, редко — рогатые: для породы. Белая гладкая шерстка. Аккуратная головка на высокой шее. Доверчивый взгляд. Но себе на уме. Коза есть коза. Зааненские козы молочные. Тяжелое розовое вымя, длинные соски. До восьми литров в день дают. Целебное молоко. Оно от болезней желудка спасает.

Зааненские козы — другая мечта Степы: занять стадо не стадо, но десяток таких коз. Одна-две у него всегда в хозяйстве — на базу. А хотелось бы больше. Но это уже, как говорится, потом, когда он работу оставит. Тогда будет на пастьбу своих коз гонять к речке Гусихе. Там трава хорошая и ветки есть, чтобы похрумтеть. Козы такой корм любят.

Такая вот мечта. На мой взгляд, неосуществимая, потому что пенсию Степе определили смешную.

Почти всю жизнь он отработал в «Сельхозстрое». Это при советской власти. А потом этот «строй» развалился: и «сельхоз», и весь остальной, советский. А когда пришла пора пенсию оформлять, оказалось, что вся бухгалтерия «Сельхоза» пропала. Остался Степа ни с чем.

А жить надо. Дочку он растил. Да и вообще, мужик — хозяин семьи и кормилец.

В те времена, для всех несладкие — девяностые годы, когда все рушилось: страна, работа, прежняя жизнь, — в ту пору мы со Степаном видались редко. Он надолго пропадал. В Москву ездил да в Питер на заработки. В поселке — работы никакой. Вот и ехали, любым объявлениям веря. Порою на край света. Магадан... Сахалин... Куда только наших людей не заносило.

Но хорошо, если «приносило» назад, к дому. Чаше с пустым карманом. Так было у Степы.

Он ехал с надеждой. Как-никак, классный каменщик.

— Я ему, гаду, говорю: «Два куба в день я выкладываю, а ты мне копейки платишь». А он, гад, отвечает: «Ти что? Хочешь, как белый человек полючать?»

Это Степан потом в бане рассказывал, возвратясь. Про тамошнюю баню вспоминал.

— В Питере было. Как-то иду после работы и вижу вывеску: «Баня». Так во мне все зачесалось. Жили-то в вагончике, вдесятером. Снегом умывались. Сами ноги меня к этой вывеске понесли. А у дверей — стоп! Постоял, подумал: «Нет. Лучше пачку “Доширака” куплю». Голодному плохо работать. Голова кружится.

Это — Питер. И в Москве, и в других местах было так же. Последний раз на Кавказе — в горы его увезли. Погранзастава. Военные. Думал, не обманут. А там вместо военных — те же морды: «Ти — не белый... Ти — слюшай миня... А то будешь наказать...» Еле сбежал.



И с той поры никуда его жена не пускала. В поселке работал. Тогда немного строились. Но кому-то дом обложить, кому-то — летнюю кухню, гараж ли... Деньги невеликие, но при семье.

Незаметно дочка выросла, вышла замуж, внучку родила деду Степе. Жена стала прихварывать, оформила пенсию, работу оставила. А Степану вкалывать вечно. Тем более когда ввязался в свою стройку: дом обложить и новую крышу сделать. Откладывать уже некуда — годы. Нога отказала, железом ее пришлось чинить. На правой, самой рабочей руке сустав выворачивается: видно, износился. Но... Деньги на жизнь зарабатывать надо. А к зиме доделать свой дом.

С кирпичотом ему повезло, по старым ценам еще в прошлом году успел купить. А вот с кровлей — ума не приложишь: такие цены...

Это я и без Степы понимал, свой дом достраивая.

Нынешний мой приезд в поселок получился поздним, в июне месяце. Но к тютине, любимой своей ягоде, я все же успел. И за долгий день не один раз выходил поладиться. Хорошая нынче уродилась тютинка: крупная, сочная, сладкая. К тютине я успел, клюю.

А вот с баней, с парной... Не зря меня Степа упрекнул: «В бане тебя не видел... Либо обленился?»

Не стал я ему объяснять про врачей, про болезни. Но когда подошли дни воскресные, не утерпел. Дело летнее: душем да ванной тут не обойдешься. Пусть без веника, но хоть посидеть в парной, почуять, как все жилочки твои оживают.

Сходил я в парную раз и другой. А Степана не встретил. У знакомых спросил: «Не хворает он?» Многие нынче болеют. Наша больница под завяз полна. Ковид... Мне ответили: «Работа у него... Спешит. Зимой, говорит, отпарюсь».

Но спустя недолгое время, когда тютинка еще не сошла, ранним утром подкатывает ко мне Степан и смеется: железные зубы напоказ, морда морщинистая, загорелая, довольная.

— Ну и чего? — спрашиваю я. — В парной тебя не вижу. Все деньги куешь? На железную крышу.

— Пошла она, эта крыша... Шиферу купил. Пойдет. А вот Манька моя тянула-тянула и двух принесла: козочку и козелика. Утром к ней иду и слышу издала: «Ме-ме... Ме...» Я — бегом. А они уже двое, на ногах, топчут. Беленькие... «Когда ж ты успела?» — Маньке я говорю... Тянула, тянула. А она мне тоже мекает. Дескать, гляди, вот они. Такие козлята хорошие, — радовался Степа. — И я потом поближе поглядел этого козелика... Это будет... — он смолк и пальцем мне погрозил. — Это будет не простой козел.

— А какой еще? Золотой, что ли?

— Рогатый.

— Ну и что...

— Ничего ты не понимаешь, писатель. В зааненской породе рогачи — редкость. Все козы комолые. И потому вырождаются. А рогатый козел — это племя. Ты понял? И у меня теперь три козы и рогатый козел.

Счастьем его лицо сияло. Обычно не больно говорливый, про породу он подробно рассказывал и про будущее стадо. Текли и текли сладкие сказки о той счастливой поре, когда работу он оставит, будет гонять на пастьбу к речке Гусихе все чистопородное стадо зааненских коз, белых как снег.

Слушал я его не перебивая, пока не зазвонил мобильный телефон.

— Да еду я, еду... — ответил Степа. — Рядом. Сейчас буду.

Вздыхнул он, возвращаясь из сладких грез в день нынешний.

— Приду в парную. В субботу работаю, а воскресенье — как штык, — пообещал он и покатил, нажимая на педали.

Позвякивал старенький велосипед, унося хозяина от сладких грез в день нынешний, летний, солнечный, теплый. Слава богу, нынче тютютина уродилась. И скоро начнут желтеть абрикосы. Тоже — радость. Вроде бы малая. Но если одно к одному сложить, получится долгое щедрое лето. А потом придет осень.

## РОВНОЙ ДОРОГОЙ

Городское мое жилье в месте завидном. Под окнами — невеликий сквер, дальше — береговой откос и река Волга. А вот двор не больно ухоженный. Машин, как и везде, много: выезжают, заезжают, по ночам теснятся.

Машин много, и потому асфальт во дворе с каждым годом все хуже. Там и здесь — ямы, колдобины, которые становятся все шире и глубже. Так что въезжать во двор надо с осторожностью, жалея себя и машину. Вот и выбирай: через арку ехать, где слева две большие ямы, или через проезд меж домами соседними — там ям побольше, но они не такие глубокие. И для пешего человека такая дорога — не радость. Особенно для пожилого. Гляди да смотри, ровный путь выбирая. И детворе достается, которая мчится, не глядя под ноги, падает, ушибая коленки.

Но ко всему привыкаешь. Ездим и ходим. Ворчим да бурчим, когда машина гроыхнет на яме или споткнешься, оступившись в колдобину. В сердцах ругаем городских начальников, которые уличными дорогами занимаются, а про дворы забыли.

Кое-кто из народа активного грозитя позвонить самому Президенту — на «прямую линию». Эта «линия» нынче в моде. Даже в поселке у нас не раз уже слышал: «А я враз — Президенту, на линию... Президенту буду звонить. Он им вложит ума...»

В нашем дворе до Президента дело не дошло.

Нынешним летом приехали мы из поселка городскую квартиру проведать. Во двор стали въезжать — не получилось. Поперек пути — плакатик: «Ремонт дороги», и какие-то люди возятся. Пришлось заехать с другой стороны.

— Слава богу, — сказал я. — Наконец-то подлатают дорогу.

Но мой шофер — человек молодой и глазастый — засомневался:

— Какие-то латальщики странные: женщина пожилая, девчонка, старик...

У своего подъезда с высоты крыльца углядел я дорожных работников и все понял:

— Это Никитич старается.

В начале лета как-то увидел я возле одного из подъездов нашего двора свежую латку на месте ямы. Но была эта латка не черная асфальтовая, а светлая — цементный раствор. Удивился я новой технологии. Но все объяснил мне Никитич — того самого подъезда давний жилец, человек общительный.

— У нас рабочие из домоуправления ступеньки обновляли, заливали раствором, — поведал он. — Остался у них излишек: полмешка цемента. Они говорят мне: «Возьми, пригодится». А я подумал: «Куда мне его до-

мой тащить... Жена заругает». Замесил я песочком, в соседнем дворе щебня нашел и заделал яму возле подъезда. Хорошо ведь получилось?

Я, конечно, одобрил, но про себя подумал, что это ненадежно: цементным раствором асфальт чинить.

Это было в начале лета. А теперь вот — продолжение. Даже плакатиком обзавелись: «Ремонт дороги». Дело серьезное.

Но, согласитесь, несколько странное: старые люди, девочка-подросток... И это ведь не цветы полить или мусор убрать у подъезда. Это — цемент, щебень, песок, раствор. Непростая работа, тяжелая, грязная. И непонятно еще, нужна ли: бетон — на асфальт. Будет ли прок? Но как говорится, вольному — воля.

В конце лета, приезжая в город, там я порою задерживаюсь, готовясь к зимовке. И как обычно, по утрам и вечерами — прогулки: в сквере и далее, высоким берегом Волги.

Гуляющих ныне намного поубавилось. Редко-редко знакомых встретишь. Причина понятная: эпидемия, ковид, берегутся. Но кое-кого увидишь. Никитича — первым делом. Он по магазинам и рынкам ходок: для себя, для семьи дочери, а еще соседке помогает обезножевшей. Два ли, три рейса в день с сумками в обеих руках. Хотя он и сам не молоденький — ему за семьдесят, — но рослый, крепкий мужик тамбовского замеса, а еще — бывший моряк. Днем он в походах. Но вечером порой на прогулку выходит. Здесь мы и встречаемся.

Тары да бары: магазинные цены да новости из телевизора. Но углядев в этот приезд уже несколько больших цементных латок на асфальте в нашем дворе, я спросил:

— Никитич, твоя работа?

— Наша... Жена затевает. Говорит: «Мы живем здесь... Чего ходить спотыкаться на каждом шагу?» Позвонила в домоуправление. Они и рады. Привезли целых три мешка цемента. С ума сойти! Ведра, корыто для замеса, мастерок... Внучка подключается. Песок, слава богу, рядом. Зимой навезли — от гололеду. А вот щебень... Какие-то стройки ищем. Ходим с сумками, набираем. Ругают нас, гонят. Но тащим... Тяжеловато, конечно. Но без щебня нельзя. Это мы понимаем.

Конечно, понимают: как-никак, высшее образование, инженеры. А семиклассница внучка опыта набирается.

— У вас даже плакаты появились, — похвалил я. — Красивые. Ремонт дороги.

— Ну а как же... Внучка постаралась. А то лезут на машинах прямо на свежую заливку, все портят. Надо, чтобы хотя бы сутки постояло, укрепились. Так и работаем: неделю отдохнем — потом дальше идем. Щебень ищем, несем. Три мешка цемента. Использовать надо.

Все понял я. Особо допрашивать Никитича не стал. Хотя что-то в голове гнездились: «Зачем? Да и надо ли — по асфальту бетон заливать...»

Время шло.

Белесые бетонные заплатки на асфальте понемногу прибавлялись, ровная дворовые проезды.

В один из вечеров прямо на моих глазах работа свершалась. Я вышел на прогулку, и на въезде в наш двор под аркой увидел трудяг.

«Ремонт дороги», — с двух сторон извещали таблички. И он полным ходом шел, этот ремонт. Глубокая, просторная выбоина на асфальте была заполнена щебнем. Никитич ее заливал густым цементным раствором. Жена его мастерком орудовала. Девочка-подросток тоже была при деле.

Я поздоровался, быстро прошел мимо, чувствуя какую-то вину ли, неловкость. Ведь как ни крути, но эти люди для меня и других работу делали. Это я иногда проезжаю здесь на машине, а чаще просто хожу. Другие жильцы всякий день, с утра до ночи мыкаются. И всякий день обходят колдобины, порой спотыкаясь, а в гололед даже падая.

А у Никитича машины нет, и у семьи его дочери — тоже. И люди они немолодые. Никитич таблетки от давления глотает. С поясницей проблемы. Жена его недавно тяжелую операцию перенесла, в Москву ее возили. По приезде она долго из дома не выходила. А вот теперь с мастерком да гладилкой на карачках ползает.

Позднее, когда я возвращался с прогулки, работа была закончена. В полутьме входной арки светило пятно свежего бетона, ровно заглаженно-го. С двух сторон его — таблички: «Ремонт дороги». И какие-то камни, кирпичи — горкой. Чтобы уж точно никто не проехал, потому что цементный раствор должен затвердеть, «схватиться», как мастера говорят. А ведь кое-кого эта малая табличка не остановит. Порою лихой водитель из двора сходу газует, спешит. А вот через камни поехать остережется.

День-другой эти таблички будут стоять. А потом уберутся. Останется полотно асфальта с большим белесым пятном в середине. Машина его мягко проедет, не громыхнув. И человек не споткнется. Пойдет и пойдет ровной дорогой.

По делам, а может, просто утреннюю или вечернюю прогулку свершая. Сквер у нас невеликий. Но все равно хорошо пройтись вдоль тополовой аллеи, а потом — дальше, высоким берегом Волги. Нынче — осень. Тополя облетают. Желтый лист устилает землю, на асфальт ложится, смягчая шаг.

## «КОНЬ БОЕВОЙ...»

Вспомнил одного из последних жителей Набатовского хутора, который уже в преклонных годах поддался уговорам жены и в городе живущих детей и переехал в областной центр, поселившись в невеликой квартирке на седьмом этаже высотного дома. Там все было, как обещано: свет, газ, ванная с горячей водой. И по нужде — как король. Словом, живи и радуйся, старый человек.

Но вот радости как раз и не получилось.

Уже неделю-другую спустя городской новосел из квартиры выходить перестал, на диване да в кресле подремывая.

— Ты чего залег? — спрашивала жена.

— А чего делать?

— Сходил бы куда, провеялся.

— А где меня ждут?

— Пойди в магазин, на базар.

— Не хочу.

— Почему не хочешь?

— Там пихаются, — не сразу и со вздохом ответил супруг.

— Кто тебя пихает? — удивилась жена. — Кому ты нужен?

— Все пихают. Сами дорогу застят, — горячо объяснял старик. — Там — человек и там — человек. Ногу поднимешь, а ступить некуда. А они еще пихают. Чего, мол, встал. А как я пойду? Дорогу-то застят.

Жена посмеялась и посоветовала:

— Тогда по двору гуляй. Там — вольно.

— Какая воля? Куда не сунься — стена. И мусорки вонючие. Бомжи

да кошки... Машины дуrom прут: по двору — как по шляху.

— Все тебе не слава богу, — отмахнулась жена. — Придумываешь...

И застыт тебе, и машины прут. Кому ты нужен?

Она детям при случае, смеясь, объясняла: «Застыт ему... Не дают ходу...» Жена лишь смеялась, а он объяснял подробно, чтобы поняли:

— Лишь ногу подниму, а там — человек... А меня пихают: «Чего встал...» А куда мне шагать, когда там рысью бегут...

Он всерьез говорил: в глазах и в голосе — недоумение и даже какая-то боль.

Слушали его с улыбкой: возраст, возраст. Хотя могли бы подумать и понять старого хуторянина, который сроду просторно жил: пусть домик был невеликий, но подворье — немереное. Палисад с цветами, летний стол под развесистой ивушкой, дорожки, плиткой выложенные. А дальше — скотьи стойла да базы, и все — одно за другим: общий выгульный, черный, немалый двор — козий с клетками для козлят да ягнят; гумно, где сено да солома в скирдах да стогах. Огород, сад и еще — левада до самой речки.

Это лишь — подворье, на котором хозяина не враз отыщешь. Внуки там аукались, в прятки да казаки-разбойники играя.

А за воротами — вовсе вольная воля. Шагай да шагай, кати да кати...

Ни ты, ни тебе никто не мешает. Свободночно и просторночко. Нынче иное, непривычное, которое могли бы молодые понять. Но не поняли. А уж тем более жена, для которой городской жизнь без огорода, скотины, птицы и прочих забот — словно медовый месяц. Она птичкой по невеликой квартирке порхала в непрестанных бабьих делах. А супруг порою под ногами мешался, выслушивая беззлобные, но укоры, которые он со вздохом терпел.

В один из таких дней старик вдруг нашел себе место приятное в узком коридорном тупичке, возле малого окошка, за которым открывались все те же городские дома. Но меж ними оставался невеликий прогал от асфальта до облаков. Понизу маковки деревьев были видны, а над ними — синее небо с далеким туманистым краем. И, что главное (это не сразу дошло), — закрай ли, горизонта клоч уходил в сторону восточную, донскую, а значит, к далекому родному хутору, которого, конечно, видеть было нельзя, но представлялись, мысленно рисовались перед глазами закрытыми сияющая белью Львовичева меловая гора над речкой, зелень береговых тополей да верб.

В тех же виденьях округа и весь хутор — как на ладони. Словно с высоты Прощального кургана глядишь. Но можно было вниз опуститься, пройти по хутору от своего дома до школы и магазина, которых давно уже не было. Ближнее от своего дома подворье — старой Катерины; она и теперь по летнему времени по двору кружится. А дальше — вовсе некудовая Ксения. Та откружилась — в хате сидит, радио слушает.

Нынче хутор опустел: народ разошелся, разъехался. Но в памяти он остался прежним, людным, когда было в нем три «кута» — как бы отдельные селенья: Рыбачий — на берегу Дона, в центре — Варшава и далекий Забарак под горою. Там, на самом краю, — Любанино подворье с грушами, вишнями да тернами и уютной полянкой в саду. Вспомнишь — и сразу живет кровь. Словно вернулись молодые годы.

Так ясно все видится и остро чувствуется. И уже не надо вдаль глядеть, но прикрыв глаза, голову опустить на руки, на узенький подоконник, погру-

жаясь не в дрему ли, забытьё, а в жизнь прошлую, длинную, которую вспоминать можно долго и долго.

Раз и другой, меж делами, глянув на своего притихшего в закутке старика, супруга окликнула его:

— Отец! Ты чего? Либо задремал? Иди на диван.

Старик поднял голову, поморгал, возвращаясь из мира иного, и послушно побрел к дивану.

Но потом, через время, вернулся на прежнее место к малому окошку и снова глядел в узкий просвет меж высокими домами, в даль, где мглистый край земли, за которым — холмистая степь и степь, и малый хутор, укрытый от ветров Прощальным курганом.

— Ты чего там нашел? — не понимала жена. — В закут залез, как сирота. В комнате, на кухне какие окошки расхорошие. Весь свет видать. Или на балконе давай тебе кресло поставим и приемник — туда. Будешь радио слушать. И гляди на здоровье...

Старик пытался что-то объяснить. Но жена лишь рукой махала.

— Какой хутор? Ты где его увидал?

Так было день и другой. Бродит старик по квартире, мается, порой ворчит, особенно возле телевизора: «Брешут они все... Брешут...» Но тянет его к малому окошку. Там он пристроится, стихнет. Порой спросит у жены:

— А ты бабу Ганю помнишь?

— Как ее не помнить. Господи...

Или об ином.

— Когда мы в новую хату вошли, Василию сколь годков было?..

Это ему все виделось, вспоминалось. Как с бабой Ганей еще мальчишкой ходили бахчи полоть. На весь день. И там, в поле, баба Ганя варила к полудню «польское» хлебово.

Котелок, малый костерик, пара горстей пшена, луковица и мелко порезанный кусочек старого свиного сала.

Ходили, пололи, присыпали плети. Осенью на быках привозили во двор арбузы да тыквы. Варили арбузный мед — нардек, чтобы мазать блины ли пышки. А тыквы — на всю зиму: запекать да кашу варить.

Или как новый дом ставили: дикого камня фундамент, стояны, обрешетка — все своими руками. А потом стены забивали глиной, приглашая на помощь родню да соседей. Огромный круг глины с соломой быками месили. Лепили бабы, а мужики — у них на подносе: тяжелые носилки таскали да ведра.

Окончив работу, гуляли за щедрым столом: конечно же, с песнями.

«Конь боевой с походным вьюком...»

Так ясно всплывало в памяти: просторный двор, столы с вышивкой и закуской, шумные разговоры. И конечно же, «песняка играть»:

«Конь боевой с походным вьюком...»

Вроде бы негромко подыграл старик свое любимое:

«Конь боевой...»

Но супруга издала, из кухни услышала, удивилась, в коридор вышла:

— Ты чего? Песняка заиграл?

— Да так... — смущенно ответил старик. — Вспомнилось... Как новый дом мазали. Потом гуляли. Как мы с тобой...

— Нашел чего вспоминать... — вроде бы осудила жена своего памятливого супруга, но вдруг смолкла. Потому что теплое колыхнулось в душе. Было ведь, все было: молодость, любовь, а потом долгая жизнь...

— Конь ты мой боевой... — проговорила она, медленно подходя, обнимая и прижимая к себе голову мужа.

В этой ныне такой редкой стариковской ласке было все: молодая любовь, которая до поры таится под пеплом долгих лет, и бабья к дорогому человеку привычка. А еще — горечь скорого расставания, которое навсегда.

## У МОНАХА

Летней порой, когда я жил в старом доме в поселке, а позднее и в иных приютах, манило меня холмистое Задонье. Прежде добирался до него пешком ли, на велосипеде, потом — на машине: в старые годы — на пароме через Дон, тихим ходом; в нынешние — легким путем, по мосту.

Минуешь Дон, на прибрежный курган взберешься, сядешь где-нибудь на взлобье и сразу словно окажешься в мире ином. Огромный земной простор открывается, а еще шире — небесный. Легко дышится. И думы какие-то легкие, светлые. Пустое из души уходит.

Конечно, лучше уехать от моста подальше, чтобы не слышать машинного гула. Куда-нибудь на Стенькин курган, на Прощальный — в места нынче вовсе безлюдные. Там редко-редко увидишь невеликий скотий гурт на попасе или овечью отару.

На кургане с высоты немалой простор открывается на многие десятки верст.

Далеко внизу — тихие воды Дона: огромное полукружье от далекого, под солнцем сияющего Белогорья к низовьям, что туманятся на другом краю света.

Неоглядный размах земли в летней зелени или осенней желтизне и вовсе безмерное и бездонное небо. Покой нетрвоженный, вечный. А ты в нем — такая малость: сродни божьей коровке, которая по высокой сухой былке спешит, а потом, крылья расправив, улетает, растворяясь в мире. И ты вместе с ней растворяешься, замирая.

В теплую погоду пору можно долго сидеть ли, бродить, перебираться с высоты одного кургана на другой. А то и подремать на припеке, подстелив какую-нибудь одежду.

Такие походы всегда словно внове и в радость. Но в последние годы в Задонье я выбираюсь все реже — в пору цветения трав: за чабором, зверобоем, душицей, или осенью за шиповником да бояркой.

И в этих редких теперь поездках я иногда сворачиваю в одно из урочищ, где, не всякому глазу доступное, под высоченным обрывом прячется местное диво, игра природы — меловой белый столп высотой два ли, три десятка метров. Он зовется по-разному: Чертов палец, Ведьмин клык или коготь, Белая дева. А для меня он — Монах. Издали он и впрямь напоминает гигантскую фигуру монаха в остроконечном клобуке и просторном одеянии.

Прежде — какой уже век — этот Монах ли, Клык стоял одиноко. Нынче к нему пробили колею полевую и кругую козью тропу вниз, в провал, к подножью столпа, и даже превратили его в некое капище с дарами хлебными и денежными.

Это место просторное и глухое. С окружающих холмов крутые балки-овраги стекают в огромную чашу, полого уходящую к Дону. Из года в год порою летней дикие степные травы, никем не тревоженные, здесь подни-

маются в пояс или в человеческий рост. Лишь звери пробивают в них свои тропы, устраивают лежки, да гнездится степная птица.

Это место глухое, далекое от жилья. Скотных заимок здесь нет, как и рыбацких становий. Это место угрюмое. Порою вечерней, ночной его стороной объезжают припоздавшие охотники да рыбаки. И неспроста. В непогоду, чаще зимой да осенью, над этим урочищем раз за разом слышится тоскливый вой. Он — не волчий и не людской. Он долгий и ледящий душу. Говорят, что это воет каменный идол. Гулким эхом отвечает ему просторная долина и долгими раскатами, которые уходят к донской воде.

Нынче — осень. Приехали мы за шиповником. Молодые мои спутники отправились к Дону, чтобы заодно рыбацкую удачу попытать.

Я с ними не поехал и стал осторожно спускаться с кургана вниз по крутой козьей тропе, останавливаясь и озираю округу.

Лето было на исходе. Просторная долина желтела и золотилась сухим нетронутым травостоем. Лишь кое-где светили шары ли, шапки фиолетового кермека — перекаати-поле. Он поздно и долго цветет. На меловых осыпях и лбах зеленел и синел колосьями цвета пахучий иссоп.

Ветер был наверху, а уже на спуске с каждым шагом словно сгущалась тишина. Улетели птицы, которые в летнюю пору селятся здесь в меловых норах: сизоворонки, черно-белые каменки-плясуньи да золотистые нежноголосые щурки. Лишь могучий орел-белохвост, хозяин немалой округи, как и прежде, в полете высокою ищет добычу, которая теперь у воды. Сусликов нет, они в спячку ушли, зайчата да лисята выросли, перепелок не возьмешь в сухом травостое. Трава здесь не косится, скотина не пасется. Год от года сплетаются на земле будылья трав прошлогдних и нынешних. Лишь огненный степной пал порою проходит, оставляя черную землю. Но нынче бог миловал.

Золотятся под солнцем желтые сухие травы. Синеет вдали донская вода.

Просторная долина, холмы в морщинах глубоких балок-оврагов. Глухая степь. А под крутым высоченным обрывом белый монах ли, идол, голову склонив, бережет тишину.

Говорят, что осенними да зимними ночами он дико воет, пугая случайных путников, которые здесь редки. Тридцать верст мы проехали, не встретив людей ли, машин, скота на попасе. Одни лишь могилы.

Горькие это места — Задонье. В прошлом веке две войны прокатились по этой земле смертельным валом. Словно степные палы полыхали они, не травы губя, которые по весне оживают, но людские жизни, которым отмерян один лишь срок.

Сначала война гражданская выбила начисто великое племя донских казаков. Сколько их здесь полегло... «Белых» и «красных», порубленных шашками, застреленных и расстрелянных, заморенных голодом и тюрьмой.

А потом пришла другая война, Отечественная — и в правду, Великая. В этих степях на донской излучине столько людей полегло, что им счету нет. Здесь гибли не роты, не полки, а дивизии, армии. Воистину, «аки трава» ложились. Когда едешь асфальтом ли, дорогами полевыми, братских могил не счесть. Они в каждом хуторе, живом и давно ушедшем. Чистое поле, две-три грушины — знак бывшего жилья. И ограда, железный ли, каменный знак со звездой. «Здесь покоятся... Здесь похоронены...»

А сколько по степи догнивают и рушатся, ровняясь с землей, деревянных ли, ржавых железных крестов...



Но все эти могилки да кладбища — лишь малая малость. В сорок третьем году после тяжелых боев летних, а потом зимних — до похорон ли было. Погибшие так и оставались лежать: наши, немцы, румыны. Лишь когда уходили бои, по хуторам поднимали баб, чтобы трупы убрать. Вспоминали старые люди, как копали огромные глубокие траншеи и укладывали в них всех без разбора. Уложат ряд, сухим камышом застелят, а сверху — еще ряд, и снова... И так доверху. И никаких крестов. Так хоронили везде: в Голубой, на Красных Ярах, в Набатове. Но это — возле хуторов. А на полях крючьями стаскивали в воронки от бомб, а по теплу, когда трупы пухли, их стали просто присыпать. И все. Это — на полях, где пахали.

А по степи, по балкам да по урочищам, там — воронье да зверь; или сами собой мягкой плотью уходили павшие в землю, оставляя лишь белые кости да черепа, которые летней порой мешали траву косить.

Нынче — осень. Мои молодые спутники где-то там, у воды. А я, спустившись к меловому столу — Монаху, — постоял недолго в подножии, подивившись дарам, которые ему нынче приносят: деньги, крупы да хлеб, который некому клевать.

Весною здесь гомон птичий: чеканье каменок, их же переливистая песнь в полете; болтливая трескотня нарядных сизоворонок и нежные трели золотистых щуров. А рядом, в просторной, кустами да травами заросшей долине, и вовсе — птичий рай.

Но теперь — тишина, осень. Красные, уже багровые ягоды шиповника, которые я собираю; боярышника алые кисти; степные травы, которые так и уйдут нетронуто в зиму. Здесь за долгое лето ни коровьего мыку, ни овечьего бляенья давно уже нет. И сено косить некому.

Дикая степь, за которую сражались и гибли. Умирали, обрекая на долгое сиротство своих детей; на долгое и тяжелое вдовство — своих жен; матерей — на вековую, сердечную боль. А еще на тяжкий упрек: «Сам ушел... Спишь спокойнечко... А нас оставил на казню...»

Пустая осенняя земля из края в край. Кровью, а потом и слезами полита.

Все ушло, все забылось. Тишина и покой. И только этот вековой каменный идол — Монах или Чертов палец — осенними да зимними ночами тоскливо и страшно воеет. Не о людской ли нашей судьбе...

